

Невидимый и беззвучный, неизвестно где зародившийся, рухнул вихрь дикой силы, закрутил и вскинул в мгновение ока тёмный качающийся столб под самое небо. Оно дрогнуло в испуге и разродилось внезапно таким тяжким ударом грома, что земля под ногами просела, и каторжная партия вместе с конвойными разом сбилась с ровного шага, пригнулась, хватаясь за головы, и замерла. Вихрь пронёсся прямо по людям, разнёсывая полы серых халатов, обдал горячей пылью, нагрешейся на полуденной жаре, раскидал тощие узелки на телегах, сшиб фуражку с офицера и понёсся вместе с ней дальше, никуда не сворачивая с тракта.

Исчезло солнце. Вздрыбила в половину небесного свода клубящаяся туча, ещё раз ударил гром, раскалывая, как колуном, пространство, и дождь-проливень встал стеной.

Загремели вразнобой железные цепи — каждый арестант пытался укрыться, как мог: одни на корточки приседали, другие задирали полы халатов, пытаясь ими укрыться, третьи, кто оказался ближе, полезли под телеги. Но старания были тщетными — всех до последней нитки в один мах промочила небесная вода. И продолжала хлестать сверху, не зная удержу.

Конвойные, словные онемев, даже не кричали и не подавали зычных команд. Тыкались, бестолковые, как котята, не зная, что делать, крутили головами в разные стороны, но ничего не видели из-за плотной стены дождя.

И никто не услышал, не различил в грохоте и шуме одно короткое слово, которое отчаянно и жарко вырвалось из груди:

— Бежим!

Двое откололись от партии, соскользнули к обочине тракта, кубарем скатились в канаву и, выбравшись из неё, ударились неуклюжим бегом, поддерживая цепи руками, к недалёкому густому осиннику. Достигли его, вломились в самую середину, пробились меж тонких, хилых стволов и, не задерживаясь, не давая себе передышка, кинулись в глубину соснового бора, который вольно лежал за осинником на длинных, пологих увалах.

Дождь лупил, не ослабляя напора.

Беглецы одолели один увал, другой, забежали на гребень третьего, и тонкий, прерывистый голос, едва различимый в тугом шуме дождя, взмолился:

— Не могу, умру! Остановись...

— Рано! Беги! Сгноит он нас, на этапе ещё сгноит! Беги! — И тот, кто говорил, подтянул к себе цепь, сделав её совсем короткой, вздёргнул без жалости и заставил подняться своего напарника, а затем потащил следом за собой, спускаясь с увала.

Снова бежали. Но всё медленней, тяжелее, переходя на торопливый, неровный шаг.

Ливень с грохотом прохаживался над бором. С такой силой, что рушил вниз гнилые сучки и пригибал макушки сосен. Время от времени вспыхивали молнии, озаряли округу режущим светом и уступали место громовым раскатам.

В изножье увала лежала огромная валежина, закрытая молодыми сосенками. Вывернутые наружу корни с пластами земли на них густо роняли вниз грязные капли. Под корнями виднелась узкая яма, и беглецы, окончательно выдохшись, залезли в неё, скрючились, притиснулись друг к другу и лежали, не шевелясь, чтобы не звякнули нечаянно цепи кандалов. Кое-как отдышались, перестали хрипеть, и тонкий, уже не прерывистый голос вышептал:

— Господи милостивый, неужели спасёмся?!

Голос был женский.

— Молчи, — прозвучал в ответ мужской голос, — молчи, как умерла. Не в Липенках своих — лясы точить.

— Где они теперь, Липенки, — короткий вздох, как всхлип, — там уже яблоки наливаются, крыжовник поспел... А мы...

— А мы в Сибири, на каторгу отправлены. Поймают — накормят яблоками! Не вздыхай, как корова, лежи тихо!

Замерли, прислушиваясь, — не донесутся ли сверху тревожные звуки? Но сверху в земляную нору проникал только шум дождя да раскаты грома. Стихли они лишь вечером, когда над увалами сгустились синие сумерки, и зачирикала неведомая птичка, зачирикала беспрерывно и звонко, словно радовалась сама и торопилась известить всех, кто её слышал, что буря с грозой закончилась, и стоит теперь над сосновым бором тишина и безветрие.

— Потерпи, не ворочайся, обождём чуток. Как стемнеет, тогда и вылезем, — в мужском голосе звучало веселье. — А ловко мы сиганули, скорее вихря! Вот пусть он теперь, жаба пузатая, отчитается перед начальством, оно ему хвоста накрутит!

— Не могу я больше, руки-ноги затекли, как деревянные, — не шевелится...

— А зачем тебе шевелиться, лежишь и лежи. По буграм бегать никто не гонит. Отдыхай.

— Куда мы теперь, с цепями-то?

— Не хнычь! Нынче все дороги наши, выбирай, какую захочешь. Не пропадём! Ты, главное, от меня не отставай, а я выведу, не впервой!

Когда над бором залегла темнота, они выбрались из своего укрытия и медленно, осторожно двинулись в сторону тракта. Неужённая птичка,

подбадривая их, продолжала черикать где-то впереди, будто беспокоилась, чтобы беглецы не сбились с верной дороги. Идти в темноте было тяжело, то и дело спотыкались, иногда падали, глухо звякая цепями. Выбрались к тракту. Он был пустынным в поздний час. Шагалось по нему после борového неудобья легче, и от этой лёгкости как будто прибывало сил.

— Если колокольчик звякнет или конь копытами стукнет, сразу за мной на край в траву падай и не шевелись, пока не проедут, — наставлял мужской голос.

— Долго нам идти?

— Идти-то... До-о-лго! Пока ноги носят! — и рассмеялся, добавив: — Теперь нам, как дурным собакам, сто верст — не крюк.

Огромная, на полнеба, туча, которая днём закрывала солнце, теперь, в поздний ночной час неведомо куда бесследно исчезла, небо прояснилось, и круглая луна величаво всплыла по крутому своду, уронив на землю блеклый, негреющий свет. Ясно обозначился тракт, потянулся вперёд, хорошо видный, и лишь там, где к его краям близко подходили деревья, он пересекался длинными, причудливыми тенями.

Вдруг возник неожиданно узкий свёрток, накатанный тележными колесами. На него и свернули беглецы, пошли по траве, которая густилась между колеями, и скоро различили впереди мутные очертания деревенских крыш. Добрались до покотины, огороженной жердями, и перед ними, чуть в стороне от дороги, оказался толстый столб, высотой в человеческий рост. На самой верхушке столба что-то неясно темнело.

— Вот и угощение нам выставили, — беглец, загремев цепями, поднял руки и снял со столба чугунок, осторожно поставил его на землю, снова поднялся и снял ещё половину хлебной краюхи, завёрнутую в тряпицу, — садись, красавица, ужинать будем.

Ели руками, доставая из чугунка холодную и комковатую просяную кашу, облизывали пальцы и снова тянулись, чтобы зачерпнуть столь нужного им сейчас угощения; хлеб беглец трогать не стал, засунув половину краюхи за пазуху. Когда кашу съели, выскоблив днище чугунка так, что ни одной крошки не осталось, беглец вернул пустую посудину на прежнее место и принялся обшаривать столб с обратной стороны. Скоро послышалось:

— Вот она, родимая, вот она, пригожая, вылезай, милая, вылезай, пропадём мы без тебя.

Нашёл он вбитую в столб железную скобу и долго мучился, пока её расшатал и вытащил. Отдыхиваясь и крепко сжимая эту скобу обеими руками, пояснил:

— Чалдоны* привычку такую имеют — еду оставлять на столбах для беглых. Как бы договариваются с нами: перекусил, голубчик, и дальше ступай, а в деревню — ни ногой. Сурьёзные мужики: если в деревню заявишься, махом голову оторвут. И так спрячут, что с собаками не найдёшь. А чугунок или хлеб на столб выставить ребятишек посылают, для них и скобу вколотили, чтобы достать могли. Вот сколько нам счастья от чалдонов привалило, бери в охапку и пользуйся.

— А скоба-то нам для какой надобности?

— Сама увидишь, теперь дальше пошли...

И они пошли, стороной обходя деревню.

Рассвет их застал на берегу глухой, лесной речушки, густо заросшей по берегам мелким ельником. На берегу беглец разыскал два увесистых камня, вытащил их на сухое место и рассмеялся — безбоязненно, в полный голос:

— Теперь, красавица, будем волю с тобой добывать. Слаще волюшки на свете ничего нету. Больно будет — терпи. Воля, она стоит того, чтобы потерпеть.

В это время уже поднималось солнце, стало совсем светло, и теперь можно было разглядеть и понять, почему беглецы до сих пор двигались, не отставая друг от друга — их сковывала одна цепь. Старательно заклёпанная умелым каторжным кузнецом, она прочно соединяла ножные кандалы

* Чалдоны — старожилы в Сибири.

беглеца и беглянки, не давая им разойтись в стороны дальше, чем на три-четыре шага.

Один камень плотно вдавлен в землю, другой — в руке, остриё скобы поставлено на заклёпку кандалов. Ну, поехали! Удар камня о железо прозвучал глухо и почти неслышно, остриё скобы соскользнуло и оставило после себя лишь царапину.

— Ничего, домучим, ты держи крепче, скобу держи, чтоб не соскальзывала! Э, безрукая! Держи!

Дальше удары камня по железу слились в долгую и нудную долбёжку — каторжные кандалы никак не желали поддаваться и отпускать на волю убежавших с этапа. Но хотя и соскальзывала скоба, и руки раскровянила, хотя и медленно, по чуть-чуть, но дело, ради которого вытащили её из столба на деревенской околице, всё-таки делала. Сначала пошевелила, а затем и выбила одну заклёпку на кандалах, затем другую. Беглец приноравливался и бил всё точнее, уверенней, а когда скинул с себя ручные кандалы, работа и вовсе пошла веселее — не могло устоять железо против человеческого упорства. И вот, наконец, поранив руки и ноги, весь в поту, беглец вышиб последнюю заклёпку на ножных кандалах своей спутницы, откинул скобу в сторону и вскочил. Закружился, раскинув руки, закричал непонятное, а затем остановился внезапно, кинулся к кандалам и, раскручивая их по очереди, зафитил в речку. Они глухо булькали, падая в воду, и круги от них по воде почему-то не расходились. Управившись с кандалами, беглец сдёргнул с головы казённую шапчонку и запустил её следом — в речку. Шапчонка не булькнула и не утонула, шлёпнулась на воду и поплыла, лениво поворачиваясь, вниз по течению.

Беглянка плакала, вытирая кровь с пораненной руки жёсткой полой арестантского халата, и морщилась — больно ей было. И страшно. Беглец подскочил к ней, встряхнул за плечо, закричал в самое ухо:

— Радуйся, дура! Теперь нам — полная воля! Не пропадём! Теперь нам сам чёрт не страшен!

Она подняла на него огромные заплаканные глаза, похожие на цвет спелого, обмытого дождём крыжовника, и другой ладошкой, не измазанной в крови, стала насухо их вытирать, одновременно пытаясь ещё и улыбнуться.

2

Эти прекрасные глаза, которыми наградила её мать, явились причиной всех несчастий, щедро выпавших на долю Ульяны Сизовой из деревни Липенки, затерявшейся в далёкой отсюда Тульской губернии.

Липенки, Липенки...

Они теперь, как небесные звёзды, — не досягнуть...

Усадьба помещика Сушинского на пригорке стоит. С белыми колоннами, с высокими окнами, украшенная гипсовыми львами и ангелочками. Старые липы, выстроившись вдоль аллеи, посыпанных речным песком, лениво шумят листвою под лёгкими вздохами летнего ветерка, налетающего из дальних степей. Дальше, там, где кончается главная аллея, начинается дорога, она скатывается под уклон прямо в деревню, которая и называется Липенки и в которой проживают крестьяне отставного майора Богдана Осиповича Сушинского.

Когда-то майор был бравым и молодым, имел пышные усы, которые завивал горячими железными щипцами, но с годами усох, скукожился и стал похожим на перезревший гриб, уже тронутый гнилью. Покойная супруга не одарила его детьми, и Богдан Осипович доживал свой век одиноким бобылём, годами не выезжая из своего имения и не принимая у себя соседей. Любимым его занятием было сидение на балконе с подзорными трубами. Труб этих у Богдана Осиповича имелось больше дюжины, все они лежали в специальном ящике, обшитом сверху добротной кожей, а внутри — алым бархатом. Он сам выносил ящик на балкон, усаживался в кресло и часами, меняя подзорные трубы, разглядывал окрестности, находя в этом несказанное удовольствие.

И вот однажды, занимаясь своим любимым делом, Богдан Осипович неожиданно разглядел: под старой липой, присев на яркой траве, плетёт веноч

из полевых цветов молоденькая девушка и безоглядно поёт при этом, расклевываясь в такт своей песне. Богдан Осипович от скуки заинтересовался — очень уж умилительная, идиллическая, прямо-таки пастушеская картинка получалась. Отложил подозрную трубу в ящик, выбрался из удобного кресла, спустился вниз и замер, когда вскочила перед ним в испуге девушка. Глаза... Глаза и сразили наповал отставного майора, как пуля навывлет. Полюбовался, спросил, как зовут, услышал в ответ, что зовут её Ульяной Сизовой, и, ничего больше не сказав, вернулся обратно на балкон. Взял в руки подозрную трубу, посмотрел, но возле липы уже никого не было. Девчушки и под простыл, унеслась вместе с веночком.

Богдан Осипович опустил подозрную трубу и задумался.

Здоровья он был слабого, мучили его постоянные боли в суставах, темнело в глазах от частого сердцебиения, по ночам он маялся бессонницей и поднимался с постели разбитым и в печальном настроении, потому что всё чаще одолевали его мысли о скорой смерти. Но в этот день, когда увидел прекрасные глаза, смотревшие на него с искренним страхом, будто бес под ребро вселился и начал шуровать, переиначивая всё на свой лад. И болезни забылись, и мысли о скорой смерти, и сам он как будто два десятка лет скинул; воспрянул и даже испытывал некий любовный трепет.

На следующий день Ульяна была доставлена в имение, помыта в бане, переодета в новый сарафан, а вечером ей надлежало явиться в спальню. Да только ровным счётом ничего не получилось из того, что задумывал Богдан Осипович. Едва он дотронулся до Ульяны, как она, дикая, оттолкнула его двумя руками, и он, не удержавшись на слабых ногах, отлетел к стене, ударился головой об угол ночного столика и сразу же затих, не успев пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже не застонал.

Ульяна, увидев кровь на полу, заблажила в ужасе, потеряла саму себя, стала отбиваться от дворни, набежавшей в спальню, и её пришлось связывать.

Дальнейшее произошло просто, обыденно и страшно. Недолгий суд присудил Сибирь, и опомнилась Ульяна, пришла в себя только на долгом этапе, который медленно и устало подползал к Тюмени, где его ждал отдых. Из Тюмени в дальнейший путь этап повела другая конвойная команда под началом молодого офицера Грунькина. Был он, несмотря на молодость, очень грузен, когда садился в седло, конь под ним всхрапывал и прогибался. От конвойной службы Грунькин ещё не успел притомиться, нёс её ревностно и частенько хватал через край, добываясь порядка чрезмерной строгостью, а порой и жестокостью. Арестанты его тихо ненавидели, но помалкивали, и только один, бывалый каторжник Агафон Кобылкин, бесстрашно кричал ему во всю ширину глотки:

— Этапные обычаи никому не дозволено рушить! “Милосердную”* всегда пели — приварок для артели! Почему петь не разрешаешь?

— Почему? По кочану! — был ответ Грунькина. — А ты, Кобылкин, помалкивай, или я рассержусь!

— На сердитых воду возят! — не уступал отчаянный Кобылкин.

Но раз они так переругивались, и ясно было всем, арестантам и конвойным, что перепалки эти рано или поздно чем-нибудь да закончатся.

Они и закончились.

Но с таким вывертом, какого никто и не предполагал.

Угоразило Грунькина среди серых халатов и измождённых лиц разглядеть чудные глаза Ульяны Сизовой. Разглядел и заколыхался тучным телом, заволновался — молодой мужик, нутро загорелось. Считая себя царём и богом над этапными, Грунькин даже и цацкаться не стал, приказал, чтобы Ульяна явилась к нему вечером в его отдельную комнату, которую он занимал как офицер, и вымыла полы. Мойка полов — дело обычное на этапах, многие из арестанток только об этом и мечтали. Бабье дело нехитрое, раскинула ноги, вот тебе и поблажки: кусок получше, на телеге с барахлишком дозvoлят ехать или вовсе ошастливят — кандалы снимут. Ульяна об этом уже зна-

* “Милосердная” — особая каторжная песня, очень жалостливая, которую пели, собирая милостыню для арестантов.

ла, уши ведь не заткнёшь, слышала, поэтому и побелела, когда Грунькин отдал свой приказ. А после, проследив, как он отъехал, протолкалась, нарушая ряды, к Агафону Кобылкину, поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до волосатого уха, и жарко вышептала:

— Дай мне нож, у тебя есть, я себя зарезать хочу!

Бывалый каторжник, лихой жизнью крученный и верченный, самолично на тот свет людей отправлявший, заморгал глазами, как ребёнок, и мотнул головой:

— Нет у меня ножика, а был бы — не дал! Ты чего удумала, девка? Смирись, она не сотрётся, глядишь, и облегчение будет. А после плюнуть пошире и растереть.

— Не могу я так, против самой себя — помру сразу. Лучше уж без позора умереть. Дай нож!

— Не дам! Сказал — не дам, значит, не дам!

— Бог тебя не простит, что в последней просьбице отказал.

Выговорила эти слова, обречённо повесила голову и вернулась в свой ряд. Кобылкин глядел ей вслед и от удивления только морщил лоб, наискосок украшенный кривым и широким шрамом. Видно, дрогнуло что-то в корявой душе каторжника, проклянулся неведомый раньше росток сострадания, и вечером, когда уже подходили к приземистым строениям, где предстояла ночёвка, он пробрался к Ульяне, тронул её за рукав и молча кивнул, давая знак, что надо отойти в сторону, чтобы чужие уши не слышали.

Они отошли, и Кобылкин торопливо шепнул:

— Слушай меня, девка, если жить хочешь. И ножик не понадобится. Делай, как я говорю, в точности делай...

И дальше торопливо прошептал такое, что Ульяна даже отпрянула от него:

— Не получится у меня!

— Жить захочешь — получится!

И не стал тратить время на ненужные сейчас слова, знал: чем дольше уговариваешь человека, тем сильнее он сомневается. Уверен был — сделает Ульяна так, как он сказал. А не сделает... Сделает!

Не ошибся Агафон Кобылкин. Разбойничья и каторжная жизнь, когда приходится босиком по бритве ходить, научила его разбираться в людях, хотя такой случай выпал впервые.

Комната, которую согласно своему чину занимал конвойный офицер, находилась в отдельном домике, где располагалась ещё и канцелярия. Низенькое крылечко, отдельный вход, узкий, тёмный коридорчик и, собственно, сами хоромы: стол, несколько стульев, кровать в углу и маленький диванчик. На улицу выходили два окна.

Вошла Ульяна, увидела расплывшегося на диванчике, как жидкое тесто, Грунькина, и едва не кинулась обратно. Но пересилила себя. Приняла приглашение и села за стол, на котором лежали белый хлеб, масло и даже конфеты с пряниками.

— Ешь, — милостиво разрешил Грунькин, — а после раздевайся и ко мне иди.

Давилась Ульяна белым хлебом, жевала конфеты и вкуса не чувствовала. Съела, сколько смогла, и попросила:

— Там бачок с водой, можно мне пройти, ополоснуться...

— Только быстро, я ждать не люблю!

В узком коридорчике стоял бачок, сверху лежал ковшик. Ульяна погрела крышкой, из ковшика воду полила, а другой рукой открыла настежь входную дверь и увидела на крыльце обрубок большущей толстой жерди. Быстро занесла его в тёмный коридорчик, упёрла, как наставлял Кобылкин, одним концом в порог, а другой чуть подняла, подсунув под него маленькую скамейку. Дверь прикрыла, вернулась в комнату.

— Долго ковыряешься! — выразил неудовольствие Грунькин. — Я же сказал — не люблю ждать! Раздевайся!

Вздрагивающими руками взялась Ульяна за отвороты халата, и в это время, как порох, пыхнул за окнами людской ор, столь громкий, что пока-

зальсь — стёкла в окнах задребезжали. Орал весь этап, орал, как под пожом. Кто-то из конвойных со страху палнул в воздух, и от выстрела, будто подстёгнутый, ор загремел ещё сильнее. Грунькин вскочил с диванчика, ринулся в коридорчик, и оттуда донёлся дикий рев. С ходу, с разбега налетел в темноте грузный конвойный офицер на толстый конец обрубка от жерди, упёртый в порог, — точнёхонько низом живота. Лежал на полу, извивался, как червяк, и продолжал орать. Ульяна, не помня себя, перелетела через него, толкнулась в двери, выскочила на низенькое крылечко, побежала, и многоголосый ор постепенно стих.

Утром следующего дня, когда партия построилась, чтобы двинуться дальше, оказалось, что Грунькина нет и нигде не видно. Командовал за него старый седой фельдфебель, рычал грозным голосом, а сам незаметно ухмылялся в пышные усы, и вид у него был, когда забывался, очень уж довольный. Не жаловали подчинённые своего командира, поэтому и ухмылялся фельдфебель, зная, что начальник его находится в плачевном состоянии. Скоро и вся партия увидела, как вышел Грунькин, широко расшеперивая ноги, будто в интересном месте был у него привязан кол. Морщась при каждом шаге от нестерпимой боли, он дошёл до телеги, взгромоздился, лёг на спину и махнул рукой, давая команду — трогайся!

Зашаркали десятки ног, загрели цепи — обычный этапный шум. Но в этот раз он нарушался дружным смешком, который прокатывался по серым рядам арестантов. Потешались они над Грунькиным едва ли не в открытую.

Но рано посмеивались арестанты, и рано злорадствовал Кобылкин, довольный тем, что задумка его удалась и что выручил Ульяну. Отлежался Грунькин, оклемался и, пока ехал в телеге, придумал, каким способом наказать строптивых.

И наказал.

Догадывался он, конечно, что вчерашняя история без Кобылкина не обошлась. Поэтому и решил проучить отчаянного каторжника так, чтобы все и разом поняли, кто здесь настоящий хозяин.

На следующее утро, после ночёвки, когда партия уже построилась и приготовилась к отправке, выкатили на площадь большую чурку, к которой прибита была наковальня, и появился кузнец с инструментом и с цепью. Из общего строя вывели Кобылкина и Ульяну, поставили перед этой чуркой, и кузнец быстро, снововисто сковал их ножные кандалы одной цепью. Теперь арестант Кобылкин и арестантка Сизова не могли разойтись друг с другом дальше, чем на три-четыре шага.

— Ну, чего не смеётесь? — громко спросил Грунькин. — Не смешно вам, значит. А мне — смешно!

И захохотал в общей тишине, колыхаясь всем телом.

Никто на этот хохот ни словом, ни звуком не отозвался. Молча двинулись арестанты по тракту. Все знали и понимали прекрасно, что Грунькин перелез через борозду, через которую конвойный офицер не имел права перелезть — ни по этапным обычаям, ни по служебным инструкциям. Но никакого начальства здесь, кроме него самого, не имелось, а значит, и жаловаться было некому. Одно оставалось: терпеть и ждать, когда на длинном пути сменится конвойный офицер. А путь впереди лежал ещё долгий, и когда произойдёт смена, неведомо.

Но Кобылкин не унывал и подбадривал Ульяну бодрым голосом:

— Ты, девка, не падай духом, а глаза поставь на сухое место. Этому упырю в радость будет, если мы сопли распустим. А ты ему своего настроения не показывай, иначе он совсем нас с грязью смешает. За меня держись, со мной не пропадёшь!

Ульяна в ответ кивала головой, соглашаясь, но слёзы сами собой катились из её чудных глаз, особенно, когда приходилось справлять нужду, большую или малую, находясь рядом с Кобылкиным. И хотя он всегда старался в такие моменты отворачиваться и делал вид, что ничего не видит и не слышит, Ульяна всё равно мучилась от стыда и бессилия и сдерживала себя из последних сил, чтобы не завывать в голос.

Арестанты Кобылкина уважали, а после памятного случая с Грунькиным зауважали ещё больше и делились едой. Подношения бывалый каторжник охотно принимал и самые лучшие куски отдавал Ульяне, приговаривая:

— Тебе крепче питаться надо, силы копить. Нам с тобой много силы потребуется.

— Зачем? — спрашивала Ульяна, и голос у неё вздрагивал.

— А затем, — отвечал Кобылкин, — что мы этому упырю ещё покажем дуло. Щёлкнем по носу! Погоди, дай срок, выпадет хороший случай — щёлкнем!

И выпал счастливый случай, как предсказывал Кобылкин, когда обрушился на арестантскую партию, бредущую по тракту, внезапный вихрь, а следом за ним — проливной дождь...

3

Половина месяца минула с тех пор, как сбежали с этапа Агафон Кобылкин и Ульяна Сизова. За это время ещё пышнее расцвело короткое сибирское лето, в лесах появились грибы, ягоды, и каждый куст, укрывая листвой, охотно давал приют и кров. Но всю жизнь под кустом не проживёшь. Вот кончатся жаркие денёчки, занудят осенние дожди, следом за ними запорхают белые мухи, и куда тогда податься беглым людям, где искать жилище, чтобы не стинуть в холодном сугробе, а дотянуть до весны и до первой травки?

Как ни кружилась голова у бывшего каторжника от нечаянно обретенной воли, как ни радовался он своему бесконвойному положению, но о будущем приходилось думать. Время-то быстро летит, не успеешь оглянуться, а руки, хоть и не скованные, уже окоченели. В былые дни Агафон Кобылкин не стал бы ломать голову, где зиму перебиться. Он бы просто поступил и быстро: прибил бы к лихой шайке, благо, их в сибирской земле немало, и занялся бы обычным своим ремеслом — разбойным: гуляешь, пока гуляется, в обнимку с удачей, а если она отвернулась, значит, браслетами гремишь. Всё для него раньше ясным было, а вот теперь — заколодило. Не один он сбежал с этапа в этот раз, Ульяна находилась при нём. И не мог он заявиться с ней в шайку, потому что хорошо знал неписанный и непреложный закон — в шайке всё общее. А баба, если появится, в первую очередь. Сам того не заметил Агафон, как за короткие сроки вошла к нему в душу Ульяна, как цепко и накрепко она к себе притянула, не отпуская дальше, чем на три шага, будто цепью приковала. И радовался он, как не радовался никогда в путаной и страшной своей жизни, глядяваясь в чудные глаза Ульяны и слушая её певучий голос. Чем дольше глядявался и вслушивался, тем яснее ему становилось: не бросит он её и не отдаст никому. Понадобится — убьёт, кого угодно, сам на нож пойдёт, а дотронуться до Ульяны чужим руками не дозволит.

Мысли эти он держал при себе, вслух о них ни единым словом не обмолвился и никак не мог одолеть боязни, которая сдерживала его и не давала подступиться к Ульяне. Всё казалось ему, что, если возьмёт он её насильно, сломается она, как тонкий стебелёк таёжного цветка, и засохнет. Погаснут дивные глаза, кроткий голос оборвётся и никогда больше не зазвучит. Даже сильные, жилистые руки вздрагивали, когда внезапно возникал страх, что может остаться без Ульяны. Внешне же старался держать себя по-прежнему: насмешничал над ней, а иногда называл коровой и дурой. Она не обижалась, лишь смущённо улыбалась в ответ, опуская глаза, и всякий раз Агафону казалось, что в груди у него рассыпаются обжигающие искры.

Края, в которых они теперь пребывали, были ему неведомы, и он шёл, доверяясь лишь своему чутью, минуя стороной большие села и всё дальше забираясь в глухие места, где изредка попадались маленькие лесные деревни, возле которых можно было подкормиться и при удобном случае что-нибудь украсть.

Хоть и пробирался Агафон наугад, всё равно старался держаться поближе к натоптанным тропам и накатанным дорогам, побаиваясь забрести уж в совсем

неведомую глушь. Но чего опасался, то и случилось. Исчезла дорога, будто её корова языком слизнула. Попытался отыскать, а получилось, что ещё больше запутался и потерял всяческое направление. Сосновый бор будто подменили. Светлые, сухие увалы сменились глухим чернолесьем и непролазным валежником. А день, как назло, выдался пасмурным, без солнца. Куда идти — непонятно. Темно, глухо. Только сушняк оглушительно трещал под ногами.

Измаялись и сели передохнуть. Вытянули натруженные ноги и не заметили, как свалились в крепкий, провальный сон.

Первым проснулся Агафон — будто шилом укололи. Вскинулся в тревоге, ещё не понимая её причины, и сразу же услышал, как сухо щёлкнул курок ружья. Именно курок, а не тонкая ветка, переломленная при торопливом шаге. Распахнул глаза. А в глаза ему — дырка от дула, круглая и тёмная, как зрачок. Стоял всего в нескольких шагах от беглецов рыжебородый мужик, одетый, несмотря на летнюю пору, в волчью доху, перехваченную широким ремнём из сыромятной кожи. На ремне висел самодельный патронташ. Вскинутое ружьё, готовое к выстрелу, мужик держал твёрдыми руками, и ствол даже не вздрагивал, словно прибили его к невидимой опоре. Узко прищуренные глаза смотрели зло и настороженно.

— Ты бы ружьецо-то опустил, милый человек, мы путники тихие, мирные, никого не трогаем, — первым заговорил Агафон, стараясь приглушить свой хриплый голос, чтобы звучал он как можно тише и миролюбивей.

— Ага, мирные! Знаю я вашего брата! Человека зарезать — как муху хлопнуть! Подымайтесь! Вперёд идите. И не вздумайте баловать — за мной не заржавеет. Погоди... Девка, что ли? Тоже с этапа сбежала?!

От удивления у мужика даже ствол в руках качнулся.

— Я же говорю тебе, милый человек, — снова заторопился, заговорил Агафон, — тихие мы, смиренные и на разбойные дела не способные, сам понимать должен, на разбой с бабой не ходят.

— Ну, это ещё надвое сказали, иная баба злее мужика будет.

— Да ты глянь на её, глянь, — упорно гнул свою линию Агафон, пытаясь разговорить мужика и притушить его первоначальную злобу, — она, как ангел, чистая, а ты её — в разбойницы!

— Зубы не заговаривай! Сказал — вперёд идите, вот и топайте. А там разберёмся, кто из вас ангелом, а кто чёртом прикинулся. Ступайте!

Пришлось подчиниться, чтобы не злить мужика. Ульяна вцепилась тонкими пальцами в руку Агафона, прижалась к нему, и он сразу же почувствовал, что она трясётся, как в ознобе. Наклонил голову, коротко шепнул:

— Не бойся.

Ульяна сбилась с шага, запнулась, и в отчаянии, также шёпотом, отозвалась:

— Лучше здесь помереть, чем на этап вернуться. Ты иди, Агафон, а я упаду и пусть пристрелит.

— Не дури! — Агафон ветряхнул её за плечо и громко, в полный голос пригрозил: — Я тебе так лягу — костей не соберёшь! Шевели ногами!

Мужик с ружьём, шедший сзади, молчал. Но нетрудно было догадаться, что весь разговор, даже когда шептались, он прекрасно слышал.

Чернолесье и валежник под ногами внезапно кончились и сменились мягким покровом мха в низине. Дальше пошёл подъём на сухой увал, по гребню которого тянулась посреди молодого ельника узкая, едва различимая тропка.

— Направо поворачивай! — последовал грозный окрик.

Повернули, двинулись по тропинке. Скоро тропинка соскользнула с вершины увала вниз, и перед глазами внезапно, будто из-под земли выскочила, возникла заимка: глухой заплот, такие же глухие ворота, а дальше, за ними, — приземистая изба с почерневшей крышей.

— Ворота открывай! — приказал рыжебородый мужик.

Ворота от старости провисли и открылись, царапая землю, со скрипом. Агафон пропустил вперёд Ульяну, шагнул следом за ней и споткнулся, замер на месте: под заплотом, развалившись в полный рост и задрав вверх все четыре лапы, покачивался из стороны в сторону, лежа на спине, матёрый медведь. На скрип ворот и на людей, которые вошли в ограду, он даже ухом

не пошевелил, продолжал покачиваться и негромко урчал, видимо, выражая полное своё удовольствие. Агафон резко качнулся, заслоняя Ульяну, но мужик, увидев это, предупредил:

— Не шарахайся! Он не любит у меня, кто суетится, он степенных уважает, неспешных. Идите в избу.

Поднялись на крыльцо, миновали сени, и вот — изба, в которой не имелось ни перегородок, ни лавок; возле стола, сколоченного из толстых плах, стояли две берёзовые чурки. На одну из них мужик по-хозяйски сел, положил на колени ружьё, прищурился, словно в глаза ему слепило солнце, и принялся рассматривать Агафона и Ульяну. Молчал и толстыми, грязными ногтями постукивал по деревянному прикладу. Весело постукивал, дробно, и казалось, что где-то за стенами скачет конь по твёрдому настилу, озвучивая копытами свой быстрый ход. Наглядевшись и настучавшись, мужик принялся чесать растопыренной пятернёй бороду, а глаза завёл в потолок, почудилось, что ещё немного, и он заурчит от удовольствия, как медведь, лежащий на спине под заплотом. Внезапно мужик вскочил с чурки, будто ягоды огнём опалило, и весело крикнул:

— А чего стоим-то?! Печь не топлена, на столе пусто! Неужели жрать не хотите? Хотите жрать или нет?

— Да как сказать... — замылся Агафон, который не мог найти верного тона для разговора со странным мужиком. — Оно бы и не мешало, если имеется, чего на зуб положить...

— Имеется! — мужик прислонил ружьё к стене и показал пальцем: — Там дрова под печкой и растопка с серянками. Зажигай!

И столь неожиданным был этот переход в его настроении, что Агафон и Ульяна даже растерялись. А мужик тем временем уже тащил из сеней здорового неоципанного глухаря, мешок с крупой, охапку зелёного, еще не завядшего слизуна*, и всё это делал сноровисто, быстро и весело, словно исполнял должную любимую работу.

Скоро в печи загорелись сухие сосновые дрова, в закопченный зев дымохода густо потянулся чёрный смолёвый дым, и изба, казавшаяся мрачной и необжитой из-за скудного света пасмурного дня, ожила, повеселела. В чугушке забулькала вода, Агафон ошпарил глухаря кипятком и принялся его ошипывать. Ульяна нашла тряпку, вымыла полы, и мужик, осторожно наступая на чистые половицы, удивлённо покачивал головой, словно узрел у себя под ногами дикий вид. Агафон дёргал глухаринные перья, отфыркивался от летящего пуха, а сам украдкой наблюдал за мужиком, поглядывая и на ружьё, прислонённое к стене. Один из таких взглядов мужик успел перехватить и спокойно, даже чуть насмешливо сообщил:

— Заряда-то в нём нету. Кончились у меня заряды, вот последний оставался, и тот на глухаря потратил. А во двор без меня — ни ногой! Иван Иваныч не даст и на крыльцо выйти — порвёт!

Намёк был понятный — даже думки не держите, чтобы без разрешения хозяина из избы вырваться. Но зачем же тогда он привёл их к себе, зачем собирается кормить и даже вроде бы радуется лёгкой суете и общему заделью? Не понимал этого Агафон, не мог найти разгадку, а когда чего-то не понимал, его обычная каторжанская настороженность многократно возрастала, и он продолжал неотрывно следить за мужиком, стараясь теперь, чтобы тот не перехватил его взгляд.

Хозяин в очередной раз сбегал в сени и притащил большую головку сахара, положил её на стол и сообщил:

— Чай будем пить! Вот супчику из глухаря похлебаем, тогда и чаёвничать начнём, тогда у нас и разговор сочинится.

Ульяна за хлопотами и от печного жара раздумянилась, ещё сильнее похорошела, и Агафон, изредка взглядывая на неё, обмирал от пронзительного нежного чувства, которое пресекало дыхание.

Суп сварился, чугун стоял теперь на середине стола, и все по очереди тянулись к нему деревянными ложками — крепко всё-таки проголодались.

* Слизун — дикий чеснок.

Выхлебали до самого донышка, Ульяна в том же чугуне накипятила воду, и принялись за чай. Вот тогда, наколов ножом сахара и разделив кусочки на три части, мужик завёл, как и обещал, разговор. Станный, надо сказать, разговор:

— Вот скажите мне, чего человек на земле ищет? Всё он чего-то бегаёт, мельтешит, паскудит, врёт, изворачивается, как змея под вилами, а зачем он это творит, если знает, что в конце концов крышка ждёт от гроба? От крышки не увернёшься, не перехитришь её. А?

— Это как повезёт, — усмехнулся Агафон, — другой раз ни гроба, ни крышки нет, так закапывают, а случается и совсем худо — бросят зверью на поживу, а кости после ветер раздует.

— Ну, ладно, — согласился мужик, — пускай без крышки. Конец-то всё равно один! А?

— Понять я тебя не пойму, милый человек. Какие тебе ответы давать, если спрашиваешь про то, чего я не знаю, — Агафон отхлебнул чаю и замолчал; он, действительно, не знал, что ему следует отвечать, старался лишь соблюдать осторожность, чтобы не рассердить мужика.

— Сермяжные вы люди, — искренне огорчился хозяин, — я-то надеялся, что отведу душу, а вы — как все! Дальше носа рассуждать не можете. Когда с этапа-то сбежали? Давно? И куда направлялись? Только врать не вздумайте, я на сажень под землю вижу.

Помолчал Агафон, раздумывая, и решил, что нет сейчас смысла врать, сочиняя какую-нибудь небывальщину, глаз-то у мужика намётанный, сразу догадался, что они с этапа сбежали, хотя и были они сейчас обряжены не в арестантские халаты, а в одежку вполне справную, пусть и потрёпанную, какую удалось своровать в деревнях, мимо которых пробирались. Решив так, он не стал таиться, честно рассказал мужику, как оказались они с Ульяной на одной цепи, как помог им внезапный вихрь избавиться от мучителя Грунькина и что идут они сейчас без всякой цели и даже не знают, где останутся.

Слушал мужик с интересом, а когда выслушал, представился:

— Меня Кондратом зовут, а прозвище у меня — Умник. Я оттуда же, с тракта, сбежал, правда, давно это было, как-нибудь расскажу. Вижу, что врать не стали, это мне глянется, когда по-честному. А что пути своего не знаете — тоже хорошо. Я вам свой путь скажу — не отказывайтесь. Другого вам никто не предложит.

4

Бойко шумела неширокая речушка, омывая своим стремительным течением горные камни. Журчала, не прерываясь ни днём, ни ночью, и звук этот неумолкающий поселял в душе благодное спокойствие, когда отходят в сторону и растворяются, словно туман, тревоги и горести, и кажется, хочется верить, что нет в этом пустынном месте никакой опасности. Значит, можно жить вольно, не оглядываясь в тревоге, жить, как ты желаешь, сам себе господин и хозяин. Сладким было это чувство, веселилась и вскипала от него кровь, как в юности, и силы такие поднимались, что казалось возможным выламывать камни из горы величиной в свой рост и бросать их через речку.

Пылал большущий костёр, пламя его отражалось на текущей воде, и глаз невозможно было отвести от отблесков, словно обладали они неведомой тайной и будто бы завораживали. Агафон упирался босыми ногами в песок, уже остывший от дневного жара, смотрел, не отрываясь, на речушку, и слушал Кондрата, который говорил, не умолкая. Голос его сливался с шумом водяного течения и так же поселял в душе тихую благодсть.

— Вот за это меня, Агафон, и прозвали Умником, что я понять хотел, ради чего человек рождается? Сам не понимал — у других спрашивал. А другие смеялись. “Умник ты”, — говорили, но так говорили, будто я дурак круглый, как дырка в носу. А теперь мне и спрашивать не надо, нет такой нужды, я сам знаю. Для того он рождается, человек, чтобы в согласии с са-

ним собой жить, как его душа располагает, так он и делает, чтобы его никто насильно не заставлял: иди туда, тому кланяйся, говори это... Располагает моя душа, чтобы в таком месте обретаться, я и обретаюсь, и никто мне не указ. Спину сгибать не надо, шапку ломать не требуется, врать, опять же, надобности нет. Вот о какой жизни я мечтал! Сам до неё докумекал, и путь сюда сам придумал, а ты сомневался... Помнишь, как сомневался?

— Помню, — кивнул Агафон, не отрывая взгляда от текущей воды.

Он, действительно, всё хорошо помнил, и не забыл, что произошло год назад на заимке странного человека по имени Кондрат, а по прозвищу Умник. Тогда, год назад, рассказал тот Агафону и Ульяне, что собирается покинуть обжитое место, потому как частенько стали наведываться люди — то беглые заглянут, то из соседней деревни, которая появилась недавно, кто-нибудь, заблудившись, зайвится. И если уж знают теперь, что такая заимка имеется, значит, жди в скором времени служивых. А вот их-то, служивых, Кондрат видеть не желал. Рассуждая пространно про жизнь человеческую, он всегда эти рассуждения заканчивал одним и тем же — жить надо там, где душа твоя будет спокойной и безмятежной. А для того, чтобы она в таком положении пребывала, надо отправляться в путь, искать для пристанища иное место. Предлагал Кондрат идти вместе с ним в дальний путь и говорил, что они сразу ему поглянулись, когда услышал он их короткий разговор по дороге к заимке. На вопрос же — куда приведёт этот путь? — честно отвечал, что он ещё и сам толком не знает, но слышал от верного человека, что имеются такие места в алтайских горах, где можно скрыться и никто тебя не найдёт. Агафон, слушая Кондрата, маялся в раздумьях, Ульяна молчала, не вступая в мужичьи разговоры, и длилось так несколько дней. В конце концов, Агафон хлопнул ладонями по столу и объявил громогласно, что согласен, а Ульяна, услышав про его согласие, ничего не сказала, только кивнула.

Из соседней деревни привёл Кондрат лошадей с телегой, на которую погрузили нехитрый скарб, и тронулись в неведомый путь. Следом за телегой, как собачка, косолапил Иван Иванович, и Кондрат всё пытался его уговорить:

— Иди в лес, дурак, зима наступит, где я тебе берлогу рыть буду?!

Но упрямый зверь не отставал и лишь урчал время от времени, выражая неудовольствие.

— Я его совсем малым подобрал, с руки кормил, вот и привязался ко мне, как к мамкиной титьке, — горевал Кондрат. — Думал, в лес уйдёт, а он, видишь, за нами тянется. Иди, Иван Иванович, иди, место себе ищи!

Но медведь ещё долго тянулся за своим хозяином до тех пор, пока не пошёл снег. Проснулись утром — кругом бело. И медведь исчез.

— Вот и оборвалась последняя зацепка, Иван Иванович и тот ушёл. Теперь у меня всё сначала начинается — и путь, и судьбина, будто я заново родился — голенький, — Кондрат смотрел на встающее холодное солнце и улыбался.

Настоящая зима прихватила их в дороге, в лесу, и они пережили морозные, снежные месяцы в хилой избушке, срубленной на скорую руку из тонких брёвен. Намаялись, наголодались, но дождалось тёплых дней и, как только пали сугробы, снова тронулись в путь, одолевая одну за другой нечитанные версты.

И вот пришли.

Уже не втроём, а в десять раз больше. Попадались на пути разные люди, и мужики, и бабы, и, если кто-то из них изъявлял желание идти в неведомое, но благодатное место, никому Кондрат не отказывал, только требовал со всех слово, что обратной дороги они искать не будут. Иных это условие пугало, и они сразу шарахались в сторону, а те, кто согласился, послушно шли за Кондратом, доверив ему свои судьбы и жизни. На всём длинном переходе и до сегодняшнего дня Агафон был у него правой рукой. Кондрат доверялся ему без всякой опаски и любил, когда выдавались свободные минуты, разговаривать с ним о жизни. Точнее будет так сказать: он говорил, Агафон слушал. И чувствовалось, что речи его находят у Агафона полное согласие.

Место, которое они выбрали для будущей жизни, всем радовало: и горы, и речка, и луг — всё было приятным для глаза. А когда обнаружили,

что в этих местах даже гнус не водится, ни комара, ни мошки нет, повеселились ещё больше, и топоры стучали, не умолкая, с восхода солнца и до тех пор, пока не упадут сумерки.

Сейчас, наработавшись за день, люди спали, а Кондрат с Агафоном всё ещё сидели у костра, смотрели на речку и оба молчали — наговорились. Пора и спать. Первым поднялся Кондрат, потянулся с хрустом и ушёл в темноту. Агафон пошевелил палкой костёр, и тот вспыхнул заново, взметнув вверх огромный столб искр. Заслоняясь рукой от этих искр, неслышно приблизилась Ульяна, присела рядышком на бревно, прислонила голову к плечу Агафона, сказала негромко:

— Час уже поздний, ложился бы... Завтра опять рано вставать.

— А ты чего не спишь?

— Не знаю, проснулась. Глаза закрываю, а сна нет. Привиделось мне — нехорошее... Такое нехорошее, даже затряслась от страха.

— Плонуть и забыть, мало ли чего привидится!

— Нет, Агафон, такое долго помниться будет. Мальчонка маленький идёт на меня, а горло у него перерезано, и кровь течёт прямо на рубашку, а рубашка белая, длинная, в пол... Я убежать хочу от него, а ноги не слушаются. Подходит он совсем близко и пальцем грозит мне. Молчит и грозит, а лицо строгое-строгое, как на иконе.

— Да не бери ты в голову! Сказал же тебе — плонь и забудь. Мне другой раз такая чертовщина снится... Тьфу! Пойдём спать!

— А костёр? Может, водой залить?

— Сам догорит, погода тихая... Пошли!

Недалеко от костра, рядом с первыми венцами будущей избы, стоял немудрёный шалаш, сложенный из веток и сверху накрытый травой, успевшей высохнуть на солнце. В шалаше теперь и жили Ульяна с Агафоном, жили, хоть и невенчаные, как муж и жена. Агафон до конца выстоял, так и не решившись раньше времени дотронуться до непорочной девчонки, которая без оглядки ему доверилась. Ульяна сама выбор сделала, сама пришла к нему, ещё там, на заимке Кондрата, пришла, прилегла рядом и едва ощутимо погладила по голове ладонью. Спокойно и ровно звучал её голос, и от этого голоса Агафону хотелось заплакать, как в далёком и позабытом детстве, потому что во взрослой жизни он никогда не плакал.

— Я ведь сначала боялась тебя, — говорила Ульяна, продолжая гладить его ладонью по голове, — так боялась, что не смотрела лишний раз. А теперь смотрю — и радуюсь. И дальше хочу радоваться. Только... целоваться я не умею...

Ни похабным словом, ни движением непристойным он не обидел её. Ни тогда, ни до сегодняшнего дня. Не узнать было матёрого разбойника, притихшего под девичьей ладонью.

Сухо, уютно и счастливо было им сейчас в шалаше. И речушка заботливо педала для них свою бесконечную песню, убаюкивая в крепкий сон.

К зиме, к первым морозам и снегопадам, встала деревня, выстроившись в одну улицу. И люди начали на новом месте свою новую жизнь, которая отличалась от прежней, как отличается своим видом старая, изорванная подстилка от нового, в разноцветье сотканного половика. Верховодил всей этой жизнью Кондрат, рядом с ним всегда находился Агафон, и никто этой крепкой связки не оспаривал и недовольства не высказывал.

Обустроивались, обзаводились хозяйством, время от времени посылали доверенных гонцов через перевал, и те возвращались с нужным инструментом, который своими руками сделать было невозможно, с домашней живностью и с семенами. Земля здесь оказалась мягкой, как пух, и плодородной — что воткнул, то и зацвело. Даже огурцы вызревали на навозных грядках. А уж репа, брюква, капуста и прочее, что попроще, перли из земли с такой силой, что треск стоял. Народились детишки, деревня огласилась звонкими голосками, и жизнь окончательно вошла в прочное русло.

Ульяна принесла сынишку, затем девочку, а следом — ещё одного парня. Тесно стало в избе, и Агафон всерьёз задумывался о новом строительстве,

собираясь ставить более просторное жилище. Начал заготавливать лес, укладывая в ряды сосновые брёвна, чтобы они высохли до чистого звона.

Вот за этим занятием и застал его Кондрат. Спрыгнул с коня, повод не привязав, и напрямик к Агафону. Не поздоровался, не кивнул, а сразу — в карьер:

— Бросай работу! Всё бросай! Коня седлай, ружьё бери, харчишек не забудь! Я здесь подожду, дух переведу.

Не стал Агафон спрашивать о причине такой спешки, понимал — по пустяшному делу сломя голову Кондрат бы не прискакал. Сразу же бросил работу, побежал в свою ограду и скоро появился верхом на коне, с ружьём и дорожным мешком, в который успел сунуть краюху хлеба, пару луковиц и кусок вяленого мяса.

— От меня не отставай, — махнул ему рукой Кондрат, — после расскажу...

Вскочил в седло, хлестнул плёткой коня, и тот сразу взял рысью, вынося своего седока к речушке. Размётывая брызги, кони одолели речушку, выскочили на утоптанную тропу, и гривы их взметнулись от встречного воздуха. Махом проскакали вёрст шесть, дальше тропа сузилась и начала вилить зигзагами вверх, на подъём. Нависали над ней каменные козырьки, в иных местах так низко, что приходилось клониться к лошадиной шее. Тут уж вскачь не полетишь, и скоро пришлось спешиться.

— Давай коням передых дадим, — Кондрат вытер ладонью потный лоб, ладонь обтёр о рыжую бороду и присел на корточки, — да и самим охолонуть надо, чтобы горячки не напороть... Слушай...

И дальше поведал такое, что Агафон, слушая его, только кричал, как селезень на болоте.

Оказывается, ещё вчера Кондрат отправился на охоту. Давно уже приметил он лёжку горных козлов, но всё времени не хватало, чтобы добраться до них. И вот собрался. Но охота с самого начала не заладилась: когда подходил к лёжке, опёрся ногой на камень, думал, он цельный, а камень закувыркался вниз, всё сшибая, что на пути попадало, и такой получился тарарамный грохот, что козлы вспорхнули, как птички, и пошли перескакивать с камня на камень, уходя выше по склону. Кондрат, не в силах пересилить охотничьего азарта, потянулся следом за ними. Но козлы будто насмехались: перескочат на новое место, разлягутся, рога выставят и ждут, когда он поближе к ним выпарапается. Но едва он начинал подбираться на ружейный выстрел, они легко, по-птичьи, вспархивали и — догоняй, охотник! Конечно, следовало бы плюнуть, послать подалее хитромудрых козлов, неудачную охоту, спускаться вниз, на тропу, где оставил коня, и ехать домой. Но Кондрат упёрся. Снова и снова тянулся влед за козлами, а они уводили его всё дальше и дальше по горному склону.

Опомнился он, когда огляделся и понял, что оказался в совершенно незнакомом ему месте. Вокруг вздымались отвесные скалы, и он только запрокидывал голову, растерянно озираясь. Козлы исчезли, будто и впрямь улетели, как птички. Кондрат начал искать спуск, чтобы вернуться к коню, но не тут-то было — куда ни ткнётся, везде обрыв, да такой бездонный, что вниз заглянуть жутко. Тогда присел на камень, перевёл дух, ещё раз огляделся и начал обходить кругами незнакомое место. Должна ведь какая-то тропка быть, ведь сам он сюда как-то поднялся?! Но зияли перед ним только бездонные обрывы, а сверху громоздились отвесные скалы, окрашенные в розовый цвет заходящим солнцем.

До самой темноты шарахался Кондрат из стороны в сторону, но спуска так и не нашёл. Уморился до края, выбрал удобное место под большим валуном, привалился спиной к теплому ещё камню и провалился, как в яму, в тяжёлый сон. Проснулся от холода, уже на исходе ночи; в горах всегда так бывает: пока солнце светит, от жары изнываешь, а луна взошла — зубы начинают дробь бить. Вскочил, задрыгал руками и ногами, чтобы согреться, и тут увидел в густой ещё темноте, что неподалёку от него поднимается играющий свет — будто из камня всходят искрящиеся столбы. Покачиваясь из стороны в сторону, они сливались друг с другом, и вот уже сплошная

полоса разрезала горный склон. Кондрат даже глаза закрыл и головой встряхнул — может, привиделось спросонья? Снова открыл. Нет, не привиделось. Как поднимался свет, так и поднимается, только становится всё ярче и ярче. До такого накала, что глаза режет и слезу выжимает.

Заслонился ладонью, отшагнул назад, и показалось ему, что ноги очутились в темноте, а сам он будто бы полетел, невесомый, как пушинка. И по-прежнему властвовал вокруг неистовый свет, на который теперь боязно было даже смотреть.

Сколько времени это длилось и было ли на самом деле, Кондрат так и не понял. Очнувшись на горной тропе, когда уже занимался рассвет, — обычный, без искрящихся столбов и полос. И виделось, теперь уже совсем ясно, что тропа ему знакома, по ней он поднимался вчера в погоне за козлами, и где-то там, внизу, оставил коня. Кондрат передёрнул плечами, осмотрелся, но ничего необычного не обнаружил — всё на месте, всё, как обычно: тропа вниз уходит, гора вверх вздымается. Может, и впрямь привиделось? Подождать, покрутил головой и стал спускаться по тропе.

Конь встретил его весёлым, радостным ржаньем, даже хвост вздёрнул. Кондрат потрогал жеребца, похлопал по шее, ладонью прикоснулся к мокрому и шершавым конским губам, проверяя самого себя, в яви ли он пребывает? Убедился — в яви.

А что же тогда с ним ночью происходило? Неужели он на какое-то время ума лишился?

Быть такого не может! Не тот он человек, чтобы здравый рассудок потерять!

И не тот человек, чтобы до подноготной не докопаться.

Поэтому и вернулся вместе с Агафоном, чтобы понять и выяснить: что же всё-таки происходило с ним на горном склоне?

Слушал его рассказ Агафон и головой покачивал, удивляясь услышанному. Когда Кондрат замолчал и взглянул на него, будто безмолвно спрашивая — ну, и чего скажешь? — Агафон отбросил плоский камешек, который вертел в руке, и ответил:

— Уж не знаю, какие там огни горели, но одно знаю верно — без зверя, который на двух ногах, не обошлось. Людишки к нам какие-то пожаловали, или они раньше здесь, ещё до нас, обретались. Я, Кондрат, в чудеса и во всякую хренотень не верю. Надо нам заново то место отыскать и поглядеть.

— Вот-вот! И я так мыслю! В четыре-то глаза, может, увидим, чего я не разглядел.

— Верно, один ум хорошо, а два сапога — пара, — усмехнулся Агафон и поторопил: — Давай трогаться, солнце уже за полдень, а нам ещё добратсья надо.

Тронулись пешим ходом, коней вели в поводу, потому что тропа местами становилась до крайности узкой, близко и опасно подходя к обрыву. Но всё равно не терялась, тянулась, как вилножистая нитка, помеченная круглыми катышками козлиного помёта. Скоро пришлось и коней оставить, а самим ползти едва ли не на карачках. И всё-таки они ползли. Рвали штаны на коленях, в кровь обдирали руки, но не останавливались.

Тропа круто вильнула напоследок, упёрлась в плоский валун и кончилась. Перед валуном — небольшая ровная прогалина, а над валуном высилась, упираясь в небо, скала. Не было дальше никакого хода — ни напрямик, ни вбок.

— Здесь ты был, помнишь это место?

— Не могу сказать, Агафон, — растерянно развёл руками Кондрат, — вроде это, а вроде бы и нет...

— То ли девка, то ль мужик, то ль корова, то ли бык! Слушай, давай перекусим, а после вздремнём по очереди, чтобы ночью не клевать носами. Ночью, я так думаю, чего-нибудь да прояснится. Идти-то нам дальше всё равно некуда, только вниз спускаться.

— Это бы хорошо, если прояснится. А если не прояснится?

— На нет, как говорится, и суда нет.

— Всё присказками говоришь сегодня, — рассердился Кондрат. — К чему бы это?

— А к тому, что больше говорить нечего. И злиться на ровном месте не резон. Не рви постромки, Кондрат, не торопись, дай время, может, и поймём, что тут делается.

Возражать Кондрат не стал. Но и успокоиться никак не мог — тяготила его неизвестность, вспоминалась прошлая ночь, и он готов был сейчас хоть кричать, хоть драться, хоть из ружья стрелять, да только не знал — куда и в кого. Злился ещё сильнее, даже завязки у дорожного мешка оборвал, пока развязывал. Но за едой понемногу утихомирился, а после, вытянувшись в полный рост, уснул, положив голову на приклад ружья. Агафон не спал, прохаживался по прогалине в разные стороны, осматривался, вспоминал, но ничего необычного разглядеть не мог. Горы и горы. Больше и сказать нечего.

Ближе к вечеру он тронул за плечо Кондрата. Тот вскочил, как солдатик, сразу схватился за ружьё.

— Не шуми, — успокоил его Агафон, — теперь я прилягу, посплю малость, а ты покарауль.

— Заметил чего, пока я спал?

— Спони по бороде текли — это видел. А больше ничего. Слышать, правда, слышал.

— Чего слышал?

— А как ты шептунов в штаны пускал!

Кондрат заругался — нашёл время шутки шутить, не до смешков нынче! Но Агафон, словно и не слышал, посмеивался и укладывался спать. Владела им сегодня непонятная весёлость, будто вернулся в прежние рискованные времена, когда каждый шаг — по краешку обрыва. Оплошал и — всмятку! Только брызги в разные стороны. Не забылся разбойный промысел, лишь притих на время, а выдался случай — и явился во всей красе, обжигающая чувством опасность. Агафон радовался этому возвращению, словно хлебнул полным глотком крепкой, до вздрагивания, хлебной водки. Даже сон его не брал, хотя и намаялись до края, ползая сегодня по горной тропе. Слышал, как Кондрат ходил неподалёку, вздыхал, крихтел, бормотал что-то себе под нос неразборчивое и вдруг смолк внезапно, как обрезался. Агафон в тревоге вскинулся на ноги и замер.

Картина, которую он увидел, могла померещиться только в дурном сне: Кондрат, вытаращив глаза, отступал, пятился к обрыву, в руках у него ходуном ходило ружьё, но стрелять было не в кого. Наклонялся вперёд, пытается устоять, но, не в силах сопротивляться, пятился и пятился, вот ещё три-четыре шага — и рухнет с обрыва. Его будто в грудь толкали.

— Стой! Куда? — подскочил к нему Агафон, схватил за рукав, дёрнул рывком, оттащивая от обрыва, и в этот момент разглядел, что из-под каменного среза искрящимся столбом поднимается свет. Вот он наклонился, лёг на прогалину, и каменная твердь под ним начала проседать, опускаться. Оглушительный треск заложил уши. Свет ослеплял, заставлял закрывать глаза. Агафон и Кондрат цеплялись друг за друга, пытаются устоять на ногах, но кто-то невидимый жёстко и сильно продолжал их толкать, чтобы скинуть с обрыва.

Внезапно режущий свет исчез, оглушительный треск оборвался, и в наступившей тишине они услышали запалённое дыхание друг друга. Теперь они уже не пятились к обрыву, да и самого обрыва уже не было — ровный, хотя и крутой спуск, усеянный мелкими камешками, плавно уходил вниз.

И снова пришлось подчиниться неведомой силе, которая властно развернула их и на этот раз мягко, а не тычками, направила к спуску. Переставляли ноги, ворошили камешки, иные из них скатывались вниз и весело пощёлкивали. Ружья ни тот, ни другой не выронили и держали наготове. Спускались долго, казалось, что и конца этому спуску не будет. Но вот он закончился, они оказались на дне узкого ущелья и здесь пришли в себя. Озирались, пытались понять, где очутились, и вот что увидели: вправо и влево, загибаясь, как коромысло, уходило ущелье, а прямо перед ними зиял вход в пещеру, накрытый длинным каменным козырьком. Стояла тишина. И не было никакого намёка на яркий, режущий свет и на оглушительный треск проседающей каменной тверди — словно привиделось во сне.

Но сон оборвался, и прежний, привычный мир окружал проснувшихся. Солнце уже закатилось, однако было ещё светло, и в узком просвете вверху ущелья виделось чистое, налитое голубизной небо.

— Чего делать будем? — хрипло спросил Кондрат.

— Выбираться надо, как бы насовсем здесь не остаться.

— Может, глянём? — предложил Кондрат, кивая на вход в пещеру. —

Если уж попали...

И не договорил, но и без слов ясно было, что не желает он уходить отсюда, не выяснив до конца, куда же они попали.

Агафон молча кивнул, соглашаясь с ним, и первым шагнул к пещере, удобней перехватив ружьё и взведя курок.

Дохнуло на них из глубины пещеры тяжёлым, затхлым запахом. При скудном свете мутно увиделись сгнившие тачки, разбросанные лопаты и железные ломы, изъеденные ржавчиной, россыпи кирпичей, трухой осыпавшиеся ящики, в которых лежали непонятные тёмные слитки. Но не это поразило их, а совсем иное: в разных местах, где рядом с тачками, где возле ящиков тускло отсвечивали человеческие кости и черепа. Смерть, похоже, застала людей в один момент, кто где находился, там и рухнул, и теперь об этих людях напоминали только останки, съеденные временем.

Кондрат, заикаясь, выговорил:

— Как-кого... они тут делали?

— Какого, какого... Вот такого! — Агафон прошёл вглубь пещеры, наклоняясь над сгнившими ящиками и тачками, вернулся и твёрдо сказал: — Серебро тут добывали, руду. Я это дело доподлинно знаю, в Перчинске два года землю долбил на руднике. Пошли, дышать нечем!

— А как они... С чего померли?

— Откуда я знаю! Меня здесь не было. Они тут лет сто назад шевелились, не меньше, сам видишь — прахом всё взялось. Пошли, Кондрат, пошли, не могу я здесь.

— А серебро, серебро есть?

— Похоже, есть, видел какие-то слитки. Видно, руду добывали и здесь же серебро плавил, там дальше вроде как печи были. Эту руду с ртутью моют, моют-сушат, а после плавят — морока та ещё. Пошли, говорю.

— Погоди, а серебро? Взять можно?

— Куда нам с ним?! В лавку? Ты, Кондрат, о своей голове думай, как нам отсюда выбраться. Давай ночь ещё переждём, а утром видно будет. Ещё раз спустимся, тогда и поглядим.

Они вышли из пещеры и остановились на дне ущелья, как вкопанные — спуска, по которому они добрались сюда, не было. Нависали отвесные каменные стены, оставляя лишь узкую, быстро темнеющую щель, и не имелось в этих стенах ни единого выступа, а не то что спуска. Как в каменном мешке оказались. Не сговариваясь, двинулись быстрым шагом по дну ущелья, надеясь, что оно хоть куда-то выведет, но дно тянулось и тянулось, становясь все уже и уже.

— Неужели нас бесы водят? — Кондрат остановился, переводя запалённое дыхание, и хриплый голос впервые за сегодняшний день беспомощно дрогнул — как ни крепился мужик, а страх одолел его.

— Может, и бесы, — согласился Агафон, — только нам от этого не легче. Давай здесь останемся, ночь переждём, а после решим. Надо ещё в другую сторону попробовать, вдруг там выход найдётся...

— Я уже и не верю, — признался Кондрат, — не верю, что отсюда выберемся. И какой чёрт меня потащил!

— Хватилась девка, когда ночь прошла. Теперь уж поздно, не переменьши. Терпеть надо, Кондрат, а в отчаянность впадём, тогда уж наверняка не выберемся. Страх, он не советчик.

На эти слова Кондрат не отозвался, сполз, как густой плевок, по каменной стене и сник, словно в одно мгновение растоптали мужика, и ни на что дельное он теперь не годился. Агафон это понял сразу, знал ещё по прошлой каторжной жизни, что случается такое — крепкий, казалось бы, человек, и нрав у него, как кремь, но доходит он до невидимой черты и не может

её одолеть. Рассыпается, как от удара молотом, и заново крошки от былого кремня уже не соберёшь и не склещишь. Всего один раз ломаются такие люди, но зато насовсем, на всю жизнь, какая им останется.

Жаль ему было Кондрата, до слезы жаль, но утешить его сейчас он ничем не мог, и любые слова были бы бесполезны. А Кондрат, сидя на корточках и опустив руки, мотал головой, словно маялся нестерпимой болью, ругал самого себя, проклятое это место и начинал бормотать, сплевывая после каждого слова себе под ноги, уж совсем несвязное. Сам собою не владел человек.

Сумерки между тем сгустились, и скоро темнота сомкнулась над каменной щелью, а в небе, в недосягаемой вышине, обозначились крупные, мохнатые звёзды. Агафон, стараясь не слушать бормотания Кондрата, смотрел, запрокинув голову, на эти звёзды и пытался вспомнить весь сегодняшний день, с самого утра. А ещё старался восстановить в памяти дорогу, которую они одолели. Он ведь тоже в эту сторону не раз ходил на охоту и видел тропки, на которых обитали горные козлы, но почему-то никогда не видел ни валуна, ни прогалины. Чертовщина какая-то получалась. Снова и снова вспоминал горную дорогу и убеждался: шли они по местам совершенно незнакомым. Неужели и впрямь их бесы водили?

“Что же ты, человек, злых духов вспоминаешь, да ещё ночью, когда помыслы должны быть светлыми? — нараспев зазвучал неожиданный странный голос; звучал он не в воздухе, и слышал его Агафон не ушами, а будто он был ему раньше знаком и являлся из памяти — нежный, тонкий, словно сотканный из серебряных ниток. — Ночью, если не спишь, нужно добрые дела вспоминать, какие успел за день сделать, а ты злых духов тревожишь. Не трогай их, они сейчас отдыхают и рассердятся, если ненароком разбудишь. А про друга своего верно подумал — не владеет он больше собой, хотя и Умником прозывался. Зря прозывался. Умный, когда о завтрашнем дне думает, на желания свои нынешние может узду накинуть. А он не захотел. И перед соблазном не устоял. Опять же — загорелась душа жадностью, вот и кинулся исполнять. Он ведь не всё рассказал, твой друг, самое главное утаил. Я расскажу. Слушай... Сказано ему было: здесь мои владения и моё богатство. А ещё было сказано, чтобы он сюда никогда не возвращался и людям вашим запретил бы здесь появляться. И богатства ему были показаны, посмотри, убедись и уясни, что чужие они для вас. Ничего не понял. Посчитал, что блазнится ему мой голос. Серебро, какое успел, в карманы напихал и дома спрятал. Позвал тебя в помощь, надеялся ещё поживиться. Знаешь, почему Умником его называли? Потому что вор он, и воровал всегда с выдумкой, умничал, когда воровал. А после решил другую жизнь начать, да не получилось у него — старые грехи пересилили. Как появился соблазн, так и поддался сразу. И ты свои грехи тоже сюда принёс, не оставил их, не избавился, и все остальные принесли. Присыпали их, как золой, а внизу угли тлеют, дунул ветер, они и загорелись. Поэтому нет вам, грешным, доступа к моим богатствам. Помни, что слышал. Теперь главным будешь в деревне, и тебе говорю: никто в мои владения вступить и хозяйничать в них не может. Иначе... Ты видел, что я могу сделать, там, в пещере, видел? Запомнил? — Запомнил, — не размыкая губ, отозвался Агафон, — Только скажи мне — кто ты? Как я тебя называть должен? Голос-то, вроде, бабий... — Голос мой. Я чужими голосами разговаривать не умею. А кто я — может, и узнаешь со временем, если старые грехи отряхнёшь. Сегодня отпускаю вас, но ещё раз говорю: помни, что слышал”.

И не успел Агафон уяснить для себя эти слова, не успел ни о чём подумать, как закрутила его неведомая сила и выкинула в пустоту. Слово во сне летел он, просекая темноту, и очнулся, открыл глаза, когда ощутил под собой твёрдый, прохладный камень. Распахнул глаза. Склонялся над ним его конь, выгибая шею, и тянулся, шевеля губами, словно хотел поцеловать.

Агафон вскочил на ноги.

Занималось утро. На редкой траве и на камнях лежала обильная роса, и даже узда на коне поблёскивала от мелких капелек. Солнце из-за горы ещё не поднялось, но розовый свет уже струился по склонам и становился ярче.

Конь Кондрата стоял рядом, пощипывал жёсткую травку, косил большим карим глазом на хозяйина, а хозяин лежал ничком, подтянув к животу колени, и бормотал, не прерываясь, но что бормотал — разобрать было невозможно. Так бывает, когда маленький ещё ребёнок балякает на своём ребёночьем языке, и никто из старших даже не пытается понять его — пускай балякает, подрастёт, заговорит, как взрослый. Но в случае с Кондратом, уверен был Агафон, заговорить по-иному уже не получится. Видел он на своём веку тех, кто сходил с ума, и ни разу не видел тех, к кому бы возвращался рассудок. Постоял над скрючившимся Кондратом, окликнул несколько раз, но внятного ответа не получил. Тогда поднял его, усадил в седло и для надёжности привязал ремнями от стремян, чтобы не свалился.

И двинулся в обратный путь, ведя в поводу сразу двух коней.

До деревни добрались лишь поздно вечером. Народ к тому времени уже встревожился, мужики сидели на брёвнах и решали — отправляться завтра с утра на розыски или ещё денёк подождать? Сгрудились вокруг в изумлении, когда Агафон, распутав ремни, снял Кондрата с седла и уложил на землю. Спрашивали наперебой:

— Он чего буровит-то?

— Рехнулся?

— Агафон, где были?

— А кто у нас теперь править будет?

И много ещё о чём спрашивали мужики, глядя на бормочущего Кондрата. Отвечать им Агафон не торопился. Понимал, что рассказы он сейчас мужикам истинную правду, никто ему не поверит. Решат, что сочиняет небылицы, или, того хуже, заподозрят, что он и сам умом тронулся. Поэтому, сразу не придумав, что говорить, махнул рукой и сказал:

— Завтра, мужики, с утра у меня собирайтесь, доложу вам по порядку, что за напасть случилась. А заодно и думать будем, как дальше жить. Ноги у меня в коленках подкашиваются, и спать хочу — глаза слипаются. Боюсь, до избы не доберусь. Вы Кондрата покараульте ночью... А я пойду.

Не задерживаясь, сразу же и направился к своей избе, шарахался из стороны в сторону, словно возвращался, в излишек выпив, после гулянки. Не притворялся, его и в самом деле покачивало, будто земля под ногами ходила волнами.

На пороге, распахнув двери, стояла Ульяна, держала на руках младшенького, а старшие по бокам держались за подол юбки. Агафон наклонился, обнял разом всех четверых, успокоил:

— Живой я, живой и здоровый. Пойдём в избу, Ульяна, я спать буду, ничего не хочу — спать.

— Может, на стол собрать?

— Не надо...

И рухнул, не успев стащить с себя одежду, поперёк деревянной кровати, не дожидаясь, когда Ульяна разберёт постель. Не чуял даже, как она его раздевала, укладывала и накрывала пёстрым цветным одеялом, сшитым из лоскутков. Проснулся поздно, от неясного говора. Прислушался, не открылись глаз, и понял, что за окном гомонят собравшиеся мужики. Надо выходить к ним и рассказывать... А что рассказывать? И вдруг, будто кто нашептал ему: вот ведь как случилось!

Он оделся, вышел к мужикам совершенно спокойный и твёрдо, убедительно заговорил:

— На козлов он охотиться поехал, а они в горы от него ушли, за тем местом, где козырьки каменные начинаются. День там проваландался, переночевал и вроде бы выследил, по какой они тропе ушли. Утром за мной примчался, поехали, говорит, ты с другой стороны на тропу зайдёшь, тогда мы их прижучим и мяса настреляем немеряно. Ну, приехали, тропу отыскали, поднялись, а там такая страсть: сверху — осыпи, а внизу — обрыв, дна не видать. Кондрат остался, а я с другой стороны зашёл. Слышу: он выстрелил. И такое началось — конец света! Или от выстрела, или заряд в камень попал, а только осыпь зашевелилась и вниз поехала. Камни летят, как брызги, грохот кругом, уши закладывает. Я за валун заскочил, сижу, ни живой ни мёртвый,

а осыпь летит и летит. Едва дождался, когда стихнет. Вылез из-за валуна на карачках, пополз Кондрата искать. Нашёл, он тоже успел за валун спрятаться, только ему страшной пришлось — обрыв-то рядом. Пять шагов — и полетел, как пушинка. Вот и натерпелся страху. Кое-как вытащил, вниз спустились к коням, тут он и забормотал. Молчал до этого, не говорил, а как вниз спустились, будто прорвало, бормочет и не останавливается. Теперь за каменные козырьки даже носа не суйте. Со всех сторон осыпи сдвинулись, от одного голоса дурной камень может покатиться, а как покатится — костей не соберёшь. Или умом тронешься, как Кондрат. Присмотрели за ним, как он там?

— А никак, закатил глаза и молчит. Руки сложил, будто помирать собрался, и молчит. Накормить хотели — отказывается, не желает пищу брать.

— Пойдём, глянём...

Гурьбой повалили к избе Кондрата. Хозяин лежал на широкой лавке, сложив на груди руки, смотрел широко раскрытыми, круглыми глазами в потолок и даже не пошевелился, когда пожаловали к нему гости. А они переглядывались между собой, кивали, указывая друг другу на перемену, которая произошла с человеком: рыжая, до огненности, борода Кондрата побелела неровными клочками и торчала вверх, как растрёпанный веник.

— Давайте решать, как приглядывать за ним будем, не дело одного оставлять, — сказал мужикам Агафон, когда вышли все из избы.

Бабой Кондрат не обзавёлся, говорил, что для вольной жизни она помехой является, жил один, а ещё говорил, посмеиваясь, что невеста для него вот-вот родится. Теперь не до смешков было: человека, который не в разуме, без догляда оставлять нельзя, мало ли что в голову ему стукнет, да и кормить-поить надо, не будет же он век от пищи отказываться. Решали мужики недолго и присудили так: присматривать за Кондратом станут по очереди, и кормить-обихаживать его бабы станут тоже по очереди, чтобы никому накладно не было, чтобы хлопоты всем поровну. На этой же общей сходке мужики выбрали главным человеком в деревне Агафона. Много слов не говорили, просто сказал один, мол, бери теперь наши вожжи в свои руки, а остальные согласно кивнули. Отказываться Агафон не стал, взял вожжи в свои руки, и жизнь в деревне пошла дальше по натоптанной колес.

Споткнулась она, казалось бы, на ровном месте через несколько лет.

Август стоял тихий, благодатный. Ночи с верхушек гор опускались уже прохладные и беспросветно-тёмные, но зато в небе вызрели огромные звёзды. И было их такое множество, что голова кружилась.

В одну из таких ночей, внезапно проснувшись, Агафон обнаружил, что Ульяны с ним нет. Пошарил рукой по пустой подушке и удивился: где она? Подождал. Может быть, на улицу по нужде вышла и сейчас вернётся? Но время шло, а Ульяна не возвращалась. Тогда он, наскоро натянув штаны, вышел на крыльцо и сразу же различил в темени мутное, белесое пятно в углу ограды. Спустился с крыльца, подошёл ближе. Ульяна стояла босой, в одной исподней рубахе, стояла, видимо, уже давно, потому что, когда он тронул её за плечо, оно оказалось холодным.

— Ты чего здесь?

Она не обернулась на его голос, не пошевелилась и не ответила. Как стояла, так и продолжала стоять, словно пыталась что-то разглядеть в непроницаемой темноте. Агафон тряхнул её за плечо сильнее:

— Слышишь меня?

— Слышу, — наконец-то отозвалась Ульяна. — Слышу тебя, Агафон. Скажи мне: ты, когда разбойничал раньше, детей убивал?

Агафон даже дёрнулся от неожиданности и руку свою убрал с плеча Ульяны. Уж чего-чего, а вот таких слов он от неё не ожидал. Да и где она, его прежняя разбойничья жизнь, о которой он позабыл и которая, как казалось ему, безвозвратно поросла быльём. Канула она бесследно, и не стоит вспоминать о ней, да ещё посреди тёмной ночи.

— Молчишь? Не можешь ответить? Значит, убивал. — Голос Ульяны на удивление звучал спокойно и даже устало, словно говорила она о каких-то обыденных, домашних делах. — Сон мне снова приснился — мальчонка

в рубашонке белой, в крови весь, и снова пальцем грозил, помнишь, я рассказывала, давно ещё... Вот он заново явился, зарезанный... Тогда ничего не говорил, а в этот раз сказал... Отольётся, сказал, моя кровь вашими слезами...

— Да мало ли чего приснится!

— Говорил уже, Агафон, в прошлый раз говорил. А мальчонка снова явился. Неспроста он приснился, я сердцем чувю.

Уговаривал Агафон жену, сердился даже, пытаясь внушить ей, что не стоит посреди ночи вскакивать, как оглашенной, и по ограде шастать из-за дурацкого сна, который утром уже позабудется.

— Не забудется, — твёрдо отвечала Ульяна, — я и первый до капли помню... В глазах стоит...

— Ладно, пошли в избу, хватит здесь топтаться, замёрзла уже...

Взял её за руку, повёл за собой. В избе, как маленькую, уложил в постель и сам осторожно прилёг рядом. Вслушивался в дыхание Ульяны, догадывался, что она не спит, хотел заговорить, успокоить её, но подходящих и нужных слов подобрать не мог — не шли они ему на ум. Вот уже и окна в избе засинели перед рассветом, а супруги лежали, не сомкнув глаз, и молчали, словно отделились друг от друга невидимой стенкой.

Утром Ульяна привычно поднялась, пошла доить корову, хлопотать по хозяйству, готовить завтрак, и, когда сели за стол, она ни словом не вспомнила о ночном разговоре, а говорила о том, что надо успеть сегодня вытащить пустые бочки из погреба, ошпарить их кипятком и высушить, приготовить заранее — скоро придётся засолками заниматься на зиму. Агафон согласно кивал, а после завтрака сразу полез в погреб доставать бочки.

День прошёл, как обычно, в привычных трудах.

Показалось даже, что ночной разговор и сон, приснившийся Ульяне во второй раз, сами собой позабудутся, и возврата не случится.

Но вышло наоборот: и сны пришлось вспомнить, и недоброе предчувствие Ульяны, которое сбылось страшно и скоро.

Зима в тот год наступила ранняя и обильно снежная. Будто невидимая прореха разъехалась в небесах, и сыпалась из неё белая мешанина иной раз целыми сутками. Утром вроде бы чуть развидняется, и даже солнышко мигнет на короткое время, но вот уже закружились лохматые хлопья, гуще, гуще — и нет ни солнца, ни света. Шаткой стеной, покачиваясь, встал снегопад. День проходит, ночь наступает, а он — стоит. Изредка снегопады сменялись морозами, а затем — снова и снова, валит и валит, без конца и без края.

За деревней, где начинались подъёмы предгорья, намело огромные сугробы с загнутыми гребнями. В этих сугробах играли ребятишки в один из оттепельных дней. Норы рыли палками, прятались в них, галдели, — одним словом, радовались. И никто из них не поднял вверх головы, не увидел опасности и не предупредил, что надо бежать отсюда, не оглядываясь. Огромный снежный гребень отломился беззвучно и ахнулся вниз с глухим звуком — будто пуховой подушкой об землю ударили. Кого не сильно придавило, тот успел выбраться, кто подальше стоял, тот отскочить успел, а вот парнишки и девчонка Кобылкины в нору залезли как раз в это время. И остались в ней.

Выла по-волчьи Ульяна, когда голыми руками разгребала снег, ломая ногти о ледяные прожилки. С хрипом, задыхаясь, откидывали мужики снег лопатами, не давая себе передышки. Скорей, скорей, лишь бы успеть!

Не успели.

Пока добрались до ребятишек, пока вытащили их из-под снежной тяжести, они уже не дышали. А мёртвые глаза у всех троих, припорошённые снегом, были широко открыты, словно удивились малые, не понимая, что с ними произошло, да так и отошли в иной мир с этим искренним удивлением.

После похорон Ульяна наглухо замолчала, будто онемела. Агафон, пугаясь этого молчания, подступал к ней с расспросами, слова какие-то говорил — она ему не отвечала. Смотрела немигающим взглядом и руки растопыривала, шарила ими в пространстве, пытаясь что-то найти, но так и не находила. Хозяйство забросила, не было ей теперь дела ни до живности, ни до печки, ни до еды — клонет малую крошку, как синичка, и смотрит, смотрит в стену остановившимся взглядом.

Агафон сам хлопотал по дому и во дворе, крутился, как юла, но всё валилось из рук, падало, разбивалось и вытекало — не наладить и не собрать.

И вдруг, посреди ночи, Ульяна заговорила:

— Огонь запали, хочу, чтобы светло было...

Зажёг Агафон сразу две сальных свечи, обрадовался, что Ульяна заговорила, заторопился, спрашивая — может, ещё какая надобность есть?

— Нитки мне принеси с иголкой, — попросила Ульяна, — и холстину белую достань из ящика.

Удивился Агафон, но просьбу послушно исполнил. И дальше смотрел во все глаза, как руками рвала Ульяна холстину, прикладывала лоскут к лоскуту, примеривая, а затем начала их сшивать. Понятно стало, что пытается онашить рубашку, которая получалась у неё кривая, косая и неровная. Но явно проглядывали уже и рукава, и ворот. Хотел спросить: зачем она это делает? Но Ульяна опередила его, и сама сказала:

— У мальчонки, который снился, у него рубашка в крови. А я ему эту отдам и переодену в чистую, может, он и простит твой грех. Мальчонку-то, Агафон, ты зарезал. Вот к нам этот грех и вернулся, теперь наши дети сгинули. Ты ведь так и не признался мне, что убил, и не покаялся, видно, ни разу... Думал, что на новом месте всё позабудется, а не забылось, по следу твой грех шёл, не отставал, шёл и догнал.

Похолодела спина у Агафона, а после горячими каплями пота обнесло её... Вспомнились слова, которые он услышал в ущелье. Иными те слова были, но суть — одна. Не вспоминал он о давнем своем грехе и не каялся, а сейчас, в эту минуту, как озарило, будто невиданно ярким пламенем вспыхнули тусклые сальные свечи и осветили — всё стало видимым, как наяву... Богатый купеческий дом брали они тогда с подельниками, а навёл их на этот дом купеческий же конюх. Всё рассказал за обещанную долю: когда хозяева спать ложатся, и как можно хитрые запоры без шума открыть, и где хозяйское добро хранится. Купец со своей супругой даже проснуться не успели — их сонными зарезали. И сразу принялись выворачивать наизнанку сундуки — добром огрузились без всякой меры. Когда это добро уже вытаскивали, появился в дверях своей спаленки маленький мальчонка в длинной белой рубашке. Видимо, проснулся от шума и кулачками протирал глаза, которые, когда он отнял кулачки, оказались у него пронзительно голубыми. Увидел конюха, узнал его и даже успел сказать:

— Дядь Яша...

— Режь его! — заорал конюх, тащивший на горбу большой узел, — он про меня скажет, тогда и до вас доберутся!

Агафон, подчиняясь этому крику, а больше того — разбойничьей привычке не оставлять свидетелей, выдернул из-за голенища сапога узкий, остроточенный нож на ловкой, костяной ручке. Короткий взмах и — скорей, скорей в распахнутые двери, чтобы не задержаться и вовремя унести ноги. Назад он даже не оглянулся.

— Когда помру, ты рубашку эту в гроб мне поклади, чтобы под рукой была, — глухо, едва слышно, словно издалека, доходил до него голос Ульяны.

Он не отозвался на её голос, на ощупь, как слепой, выбрался из избы на оснеженное крыльцо, поднял голову в небо и увидел, что оно в эту ночь стоит над землёй высоким и чистым.

— Господи, прости! — впервые в жизни прошептал Агафон.

Ответа ему не было.

Скончалась Ульяна на следующую ночь, под утро, прижимая к груди так и не дошитую рубашку из белой холстины. Агафон, исполняя её просьбу, положил рубашку в изголовье гроба.

— Бу-бу-бу-бу, — бормотал без передыха Кондрат, и жиденькие слюни стекали по бороде, которая за последние годы стала совсем сивой. Потеряв рассудок, он быстро постарел, обрюзг, редко, только по нужде, выбирался из

избы, а в остальное время либо спал, либо жевал. Прожорливость в нём открылась неимоверная. Сколько ни варили для него бабы по очереди, сколько бы ни принесли — всё сметал подчистую, по-собачьи вылизывая чашки языком. Наевшись, сразу же засыпал, а проснувшись, начинал бубнить, сердито требуя, чтобы его покормили.

Ухаживать за полоумным — дело хлопотное, брезгливое, а когда ухаживать приходится годы, оно и вовсе становится муторным — до отрыжки. Вся деревня тяготилась своим бывшим старостой, многие уже вслух начинали высказывать недовольствие, но Агафон всегда осекал их грозным окриком:

— А куда его девать? Верёвкой задушить? Или голодом уморить? Кто возьмётся?

Замолкали, но недовольство оставалось.

После похорон детей и Ульяны, оказавшись один, как перст, Агафон растерялся, не знал, куда себя приткнуть, и совершенно забросил хозяйство: живность раздал по соседям, строительство нового дома прекратил и даже печь топил от случая к случаю, когда в избе становилось так же холодно, как на улице. Занятый своими переживаниями, он даже не заметил, что недовольство мужиков и баб, связанное с Кондратом, плавно перешло и на него. Говорили: это что за староста, который ходит, как мешком оглоушённый?!

Он и впрямь ходил и жил, словно ушибленный. Всё было немилым. Вольная жизнь, о которой когда-то рассуждали они с Кондратом, теперь скукожилась, поблекла и не радовала. Чаше стали сниться странные сны — все, как на подбор, о прежней разбойничьей жизни, такие страшные и кровавые, что, просыпаясь, хватался рукой за грудь. Казалось, что сердце сейчас через рёбра на волно так и выскочит. Не зная, куда себя девать, он стал ходить к Кондрату. Приходил, садился, слушал бесконечное “бу-бу-бу” хозяина, и сам начинал разговаривать. Жаловался:

— Вот как оглобли развернулись, в обратную сторону, шиворот-навыворот, будто бы в прежних годах оказался. Сам-один, тоска съедает, хоть безмен бери, да выходи на большую дорогу. Не выплясались наши хотелки, Кондрат, зря ты Умником себя прозывал. Как говорится, приехали с ярмарки, денег нет, и горшки вдребезги побиты. Сижу с тобой, разговариваю, а сам думаю, и придумать не могу — куда мне теперь податься, где голову прислонить? Может, новую бабу завести? Как мыслишь?

Ответа Кондрат не давал. Только начинал бубнить быстрее и громче, размахивал руками, и слюни обильнее текли по бороде — это был первый признак, что он проголодался и требует еды.

— Ну, и прорва у тебя открылась, — досадовал Агафон, — как в бездонную бочку любой кусок летит! Потерпи, принесут, тогда и поешь, а у меня ничего нет, не кашеварю я нынче, так, всухомятку, обхожусь.

Когда Кондрат начинал уже голосить, Агафон, чтобы его не слышать, вставал и уходил из избы.

И однажды, выйдя на улицу, удивлённо остановился. В округе-то, оказывается, весна в полную силу властвует: речушка взбухла и разломала лёд, на солнечных пригорках первая трава проклюнулась, а воздух, стекая с горных вершин, обдаёт лицо теплом. Долго стоял, подняв голову в небо и закрыв глаза. Нежился, словно пребывал в сладком сне, и показалось ему в эту минуту, что вот тронется он сейчас с места, дойдёт до своей избы, а там, как прежде: Ульяна хлопочет, ребятишки кричат и носятся возле крыльца... Сорвался, побежал, но по дороге одумался и сам себя окоротил: мёртвых с кладбища не носят, мёртвые в земле лежат.

Добрёл до крыльца, сел на верхнюю ступеньку, нагретую солнцем, и неожиданно для самого себя заплакал. Ни одной слезинки не уронил, когда стинули ребятишки, Ульяну в могилу опустил — глаза сухими оставались, а в этот день, тёплый и ласковый, словно запруду прорвало — плакал, не стесняясь, в голос, и слёз не вытирал. Плакал, понимая, что не получилось у него доброй, счастливой жизни, сломалась она безвозвратно и никогда уже больше не вернётся, как бы ни желал он этого. А виной всему — прошлые грехи. Висели на нём, как кандалы, накрепко заклёпанные умелым кузнецом. Как их снять, как от них избавиться? Впервые задумался об этом

Агафон, когда внезапно расплакался, сидя на крыльце возле своей пустой избы. Догадка эта, пришедшая ему столь же неожиданно, как и слёзы, заставила совсем по-иному взглянуть на прошлую и нынешнюю свою жизнь. Будто перекрасилась она разом в другие, непривычные для глаза цвета. И были они успокоительными для сердца, которое так больно стучало в последнее время.

На следующий день, самолично обойдя деревенскую улицу, Агафон созвал всех на общий сход. Стоял на крыльце, на котором вчера ещё плакал, смотрел на собравшихся людей, смотрел так, словно встретился с ними впервые, словно и не жил никогда рядом. Долго молчал, собираясь с духом, и кто-то из мужиков поторопил его:

— Долго стоять так будем, Агафон? Ноги-то у нас свои, не казённые, чего их зря мучить!

Но он всё равно не спешил. Пытался придумать слова, чтобы прозвучали они ясно и понятно, но слова рассыпались, как неумело сложенная поленница, и никак не желали выстраиваться по порядку. Наконец, он решился и сказал просто, даже не пытаясь чего-то объяснить или о чём-то рассказать. Понял в последний момент: что бы ни рассказал, как бы ни объяснял, всё равно его не поймут. Поэтому сказал так:

— Выбирайте себе нового старосту. А я отказываюсь.

Мужики зашумели, загомонили, но он их слушать даже не стал. Спустился с крыльца, прошёл ровно посередине, рассекая толпу, и двинулся вдоль по улице, направляясь к предгорью.

— Ты куда, Агафон? — донеслось ему в спину.

— В землю! — не оборачиваясь, крикнул он в ответ.